

ИРИНА ЧИРКОВА

Искусствовед, музейный работник

Родилась в Ростове Великом. Окончила исторический факультет Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Работала в Музее-заповеднике, затем — в Художественном музее Ярославля, параллельно училась на заочном отделении искусствоведческого факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде. С начала 1990-х преподаёт в Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского. В настоящее время доцент кафедры культурологии и журналистики.

**РУССКИЕ ПАЗЛЫ**

Музейный экспонат

Посвящается Кате

Большая вертикальная стеклянная витрина стояла в самом центре музейного зала. Ольга Сергеевна была опытным экспозиционером: по сантиметрам вымеряла отведённое ей пространство и насыщала его собственноручно собранной коллекцией народного искусства. Конечно, у неё была чётко сформулированная, не единожды озвученная на учёных советах, одобренная коллегами научная концепция... и экспозиционный план, в котором был узаконен каждый выставляемый ею музейный предмет. Она творила пространство, в котором «всяк проходящий» занимался самопознанием, но в центральной витрине на самом видном месте находился предмет, который предназначался только для неё. Это была женская рубаха, сшитая из домотканины, украшенная вышивкой, отличавшейся от традиционной, бытовавшей в местном народном костюме. Ныне маститая, давно признанная музейным сообществом, Ольга Сергеевна знала и по мере надобности вспоминала историю каждой найденной ею вещи. Историю рубахи она не забывала никогда.

Она приехала в этот северный русский город сразу после окончания ленинградской «Репинки» вместе с мужем — художником, уроженцем этих мест. Вся советская художественная интеллигенция считала эти вологодские земли родиной гениев, приоткрывшейся Атлантидой, где обычные деревенские мужики и бабы представляли гигантами, а процесс творения был привычным делом. Ольга на себе почувствовала мощь уходящего в небытие народа. Первая летняя экспедиция в глубинку была наполнена неповторимыми впечатлениями. У старшего поколения деревенских ещё бытовал традиционный русский костюм, а молодых уже околдовали новинки шестидесятых: нейлон, болонья, джерси. Старухи сознавали, что их дочерям и внукам, живущим в городах, уже не нужны хранящиеся в сундуках, переданные их покойными матерями наряды. Красоту родные по крови люди понимали теперь по-разному. Им было странно видеть

образованных городских, интересующихся их осмеянной рухлядью. Зная, что собственные дети после их смерти переведут на тряпки рубахи, сарафаны, душегреи и прочую «баскую одежду», уничтожат чтимую стариками красоту, они охотно отдавали музейщикам свои сокровища, веря, что те сохранят, сберегут.

Ольга уже заканчивала обход крестьянских усадеб, когда к ней вышла старуха в линялом, из домотканой пестряди, сарафане. Она, тихо, даже таинственно сказав: «Иди-ко сюда», — манила Ольгу чёрным крючковатым указательным пальцем. Девушка послушно шла в дом вслед за пятившейся старухой.

Имба внутри была разделена перегородками, за одну из них завела гостью хозяйка. У стены стояла большая кровать с никелированными спинками, кружевными подзорами и горой пуховых подушек. На белом городском покрывале лежала аккуратно расправленная рубаха из домотканого отбеленного полотна, по подолу широкой каймой были вышиты гладью крупные полевые цветы — васильки и ромашки. Намётанный глаз сразу определил, что музейной ценности рубаха не представляет, но из вежливости Ольга спросила, почему так богато и затейливо украшен подол. Старуха стыдливо отвела глаза, сцепила узловатые пальцы и тихо произнесла:

— А я, девка, мужа любила. — И добавила: — В музей повезёшь? Показывать будешь? Сразу не показывай. Вот умру — тогда, а то стыдно.

Старуха перевела дух, было видно, как непросто далась ей эти слова. Ольга молчала, за неё говорили пылающее лицо и вспотевшие ладони, женой на то время она была всего как несколько месяцев. Чувствительная молодая женщина решила не расстраивать бабушку. Она взяла рубаху себе как талисман.

Вернувшись из экспедиции, Ольга взялась перестраивать музейные залы. Её новая экспозиция, считала она, должна способствовать обретению утрачиваемого русскими чувства целостности, включённости в мир национальных традиций.

Уже заканчивая работу, она поняла, что в экспозиции должна быть какая-то маленькая неправильность, нарушающая монотонную выверенность представленного материала. Вот тогда и появилась в центральной витрине не совсем традиционная женская рубаха с разнотравьем на подоле. У Ольги с ней были особые отношения: прибегая на работу после счастливой ночи, женщина подходила к витрине, как бы говоря: «И я мужа люблю!» А потом наступили времена тягостные, не выговаривалось «люблю». Ольга тенью ходила по залам. Однажды поздним вечером она разобрала витрину, вынула рубаху и, оставив записку «экспонат на реставрации», принесла её домой. Она надевала рубаху несколько ночей. Любовь вернулась, и экспонат вновь занял своё место в витрине.

Жизнь преподносила встречи, увлечения, короткие влюблённости в других. И тогда при взгляде на рубаху укоризненно звучало старухино: «А я, девка, мужа любила».

Ольга Сергеевна очень хорошо знала, что вещи живут гораздо дольше людей, но знать и чувствовать — большая разница.

Первым умер муж. Пожилая музейная дама подошла к знакомой до сердечной боли, витрине. Прижав руки к стеклу, она почувствовала тепло — живое, не электрическое, хотя и горела подсветка. По лицу текли слёзы, под пальцами пронзительно визжали стёкла. Как трудно, как тяжело было произнести: «И я мужа любила...» Ольга прожила и прочувствовала все смыслы старухиной фразы. Пора разбирать витрину. От слёз плохо видели глаза, не слушались руки. Привычная работа экспозиционера сейчас была невыполнима. Она решила вернуться к ней на следующий день. А день выдался солнечный, витринные стёкла в потоке света исчезли, и рубаха парила в воздухе, а васильки и ромашки на подоле были словно живые. Ольга Сергеевна впервые за последнее время улыбнулась: «Рубаха-то приготавлилась быть талисманом для новых девок». В Ольге вновь заговорил профессионал. Она уже обдумывала новый проект с рабочим названием: «Музей — это дом, где вещи заменяют, но не вытесняют людей».

12 октября 2008 года

Ура! Он умер

Памяти Зои Александровны Колесовой

На литературную секцию при экскурсионном бюро собирались лениво. Зоя пришла минут за десять до назначенного времени, села на стул у стены. Она уже бесщётное количество раз смотрела это театрализованное представление, основу которого знала наизусть, поэтому реагировала только на импровизации. По сравнению с великосветским музейным сообществом редко собирающиеся вместе городские экскурсоводы в лучшем случае тянули на полусвет. Зое было с чем сравнить: основной у неё была работа в музее, а здесь — подработка. Конечно, у большинства музейщиков было высокое самомнение, ведь каждодневная близость к подлинному порождает чувство избранности. Сама причастность к музею наделяла человека харизмой, но Зоя вместо обладания частью коллективной харизматичности предпочла бы приличную зарплату.

Гроши, получаемые в элитарном заведении, гнали её на «панель». Это слово из профессионального сленга экскурсоводов бюро означало ведение пешеходных экскурсий по городу. Работа была сезонная, связанная с речной навигацией. Великая река во все времена кормила народ, проживающий на её берегах. В те сейчас уже далёкие восьмидесятые годы тысячи тогда ещё советских граждан на неделю отправлялись в плаванье вниз по Волге, останавливаясь на час-другой в её древних городах. В городских историях, как в каплях волжской воды, дробилась, пере-

ливалась, фонтанировала история страны. В каждом городе были свои знаменитости — как сейчас модно называть, «гении места». Их знала вся страна, а иногда и мир, они же наполняли своей славой город. Именно эти люди, их судьбы — успешные или, чаще, по-русски трагичные, — а отнюдь не достижения социалистической экономики под неусыпным контролем коммунистической партии привлекали в приволжские города толпы экскурсантов. Если Кострома неразрывно связана с драматургом Островским, Нижний Новгород — с писателем Горьким, то Ярославль — с поэтом Некрасовым.

Именно Николаю Алексеевичу Некрасову было посвящено данное заседание литературной секции, вернее — даже не ему, а демократическим тенденциям в его поэзии. Собрались уже почти все. Первый ряд стульев занимали пенсионерки — бывшие учительницы русского языка и литературы. Втянутые со времён своей молодости во всевозможные коллективные мероприятия, они демонстрировали полную готовность, разложив на коленях тетради и блокноты. Школьный Некрасов почти не отличался от экскурсионного, и пожилые учительницы чувствовали себя в предлагаемых обстоятельствах уверенно. Забрав экскурсионные группы у теплохода, переместив всю ораву на верхнюю набережную, расставив её кучками у памятника Некрасову, школьные литераторши заученно и почти хором вещали: «Советский народ свято хранит всё, что связано с памятью поэта». Да и как было не хранить, если давно умерший творец продолжал кормить уйму людей.

Зоя тоже причисляла себя к тем, кто попал к Некрасову на кормление. Для неё за долгие годы работы в его музее-усадьбе это было привычное и, как она считала, навязанное судьбой сожительство. Зоя жила на окраине города как раз с той стороны, откуда начиналась дорога в усадьбу. Каждый день через пятнадцать километров пути по Московскому шоссе с ней происходили невероятные по тем временам события: прошлая жизнь Некрасова вырастала и расстилалась огромным усадебным комплексом. Это было роскошное место с огромным домом, неопишуемой красоты во все времена года парками, садом... — место для избранных. К нему она стремилась вопреки своей бедности.

Сейчас, в душном зальчике экскурсионного бюро, расслабленно повиснув на стуле, она забавлялась, вполуха слушая выступление. Доклад напоминал озвученную характеристику, избыточную датами, цифрами, хрестоматийными четверостишиями, которые привязывали гения, как раба цепями, к родным местам. До неё долетала барабанная дробь фраз:

— Из пятидесяти шести лет тридцать один год жизни полностью или частично Некрасов провёл в ярославском крае. С Карабихой был связан почти весь последний период его жизни (1862–1875). Здесь, в неисчер-

паемом народном источнике, находил он образы для своих бессмертных творений:

Опять она, родная сторона,
С её зелёным благодатным летом.
И вновь душа поэзией полна...

— Да, только здесь могу я быть поэтом!.. — голосом провинциального диктора вещала докладчица, преподавательница местного педагогического института.

Зоя прикрыла увлажнившиеся глаза: ей стало по-родственному жалко Некрасова. Так же ей бывает жалко себя во время школьных каникул, когда толпы детей со всей области осаждают усадебный дом. Ведя где-то пятую по счёту группу плохо управляемых детей к началу экспозиции, она автоматически начинала: «Николай Алексеевич Некрасов родился...», — а сама с ужасом думала: «Чёрт, он ещё только родился», — представляя, сколько залов впереди. Зоя физически ощущала цепи на ногах и языке. Наконец последний стенд с документами. «Николай Алексеевич умер», — проговаривала она, а внутри всё ликовало: «Ура! Наконец-то он умер!» На этот раз всё — цепи сброшены.

Во время сегодняшнего доклада Зоя явственно почувствовала цепи на нём, на Некрасове. Это были их общие цепи, а чувство жалости не просто сближало — роднило Зою с Поэтом.

15 марта 2008 года

Вроде бы сказка

Посвящается реставратору А. Ф. Черторижской

Золушка состарилась и уже давно была на пенсии, но продолжала работать. Она прилежно трудилась всё в том же заповедном пространстве, куда каждое утро вот уже много десятилетий вступала вместе с боем башенных часов. Даже когда часы на звоннице не шли, превращения происходили по инерции. Заповедное пространство жило по своим законам. Как и всегда, она пришла сегодня рано утром, когда кроме дежурных ей никого не встретилось, и уже это было маленькой радостью: люди её давно раздражали. Свою работу Золушка планировала сама, утренние часы у неё были наиболее плодотворными. Она замачивала, стирала, сушила, расправляла, подшивала — в общем, приводила в порядок национальное достояние страны. Это были траченные временем музейные экспонаты. Несмотря на грязный халат, красные от воды и химикатов руки, глаза, уставшие от мелочной работы, её музейная должность называлась важно — реставратор по тканям. В заповеднике уже давно никто не готовил для неё чудеса. Старые столичные учёные феи, во время своих коротких командировок успевавшие преобразить, научить, вдохновить её, давно перешли в мир

иной. Вокруг неё сновали люди: приходили, уходили, иные задерживались, иные пропадали навсегда. Золушку они мало занимали, она жила в мире вещей. И уже давно в своём малом пространстве сама слыла чудесницей.

Она как никто в заповеднике понимала язык вещей, потому что не жалела времени, здоровья и душевных сил на общение с ними. За это они — старые, а часто совсем одряхлевшие, но подлинные и неповторимые, — делились с ней своими личными секретами.

В окна полуразвалившейся, холодной во все времена года мастерской призывно светило солнце. Оно, как и во времена далёкого и скудного детства, вызывало её на улицу. С рождения Золушка была ярко-рыжей и конопатой. На солнце её кожа тут же краснела, шелушилась и почти не загорала, но она упорно при малейшей возможности из своего захламленного мирка выходила на солнце. Вот и сейчас она села на скамейку под окном мастерской-склепа и подставила покрытое морщинами и веснушками лицо тёплым и ласковым солнечным лучам. Она приятно расслабилась и неспешно обдумывала поездку в далёкую экзотическую солнечную страну.

После того как в силу своего преклонного возраста Золушка перестала быть интересна принцам и феям, она сама для себя стала творить маленькие чудеса. Она хорошо знала предел своих возможностей и, самостоятельно раздвигая границы предложенного ей мира, по-детски радовалась новым впечатлениям. Зарабатывать на них приходилось привычным и, благодаря уникальности находящихся здесь вещей, хорошо оплачиваемым золушкиным трудом.

Соседкой Золушки по заповедному пространству была медведица, рык которой она отчётливо слышала, сидя на своей скамейке. Она много знала о легендарном звере благодаря отношениям с медведицыным поводырём. Его уже давно не было под солнцем, а медведица постоянно напоминала о себе другому зрителю. Сейчас её рык Золушка связала с генетической памятью о дремучих лесах, о чистых ручьях, о нерождённых медвежатах и многом другом неосуществлённом.

Золушка открыла глаза, подняла голову к слепящему солнцу — это была её благодарность Всевышнему за данное предназначение, предназначение Золушки.

Мариванна

Мариванна — когда-то высокая, а сейчас сгорбленная, сухая старуха, — работала смотрителем в музее на набережной. Ей было почти восемьдесят лет, поэтому вряд ли можно сказать, что работа была для неё праздником или крайней необходимостью.

Немудрящая служба музейным смотрителем давала Мариванне некоторые возможности. Она давно всё взвесила и, получая ежемесячно маленькую, но стабильную зарплату, всякий раз похваливала себя за разумный

поступок. Эта добавка к пенсии позволяла ей делать подарки любимой дочери и внукам. Вообще-то у неё были ещё сын и его дети, но в своих отношениях с чадами Мариванна пользовалась двойными стандартами. С семьёй сына она была холодна — как она себя уверяла, из-за невестки; жаркие чувства, горячую заинтересованность и денежные вливания она направляла в семейство дочери, та отвечала вниманием и заботой. Старуха была довольна.

Работой в музее она решала ещё одну свою немаловажную проблему, которую обозначила как «смена обстановки». Мариванна жила в коммуналке с захламленными коридорами, кухней с прогнившими полами, с хамоватыми соседями. В её табели о рангах они занимали самую низкую ступеньку на жизненной лестнице. В этом затхлом мирке «вороньей слободки» с ней считались и даже боялись. Соседей пугало её жёсткое морщинистое лицо, крючковатая фигура, палка, на которую она не только опиралась, но могла в ответственный момент пустить в ход для устрашения.

В музее мир был повернут совсем иной гранью. В нём не было сутолоки, суеты и грязи обыденной жизни. На побеленных чистых стенах древнего дома висели столь же древние иконы. Её, родившуюся в самом начале двадцатого века, иконы сопровождали в молодости, потом агрессивная атеистическая политика компартии и правительства вытеснила религиозные мысли на самую окраину сознания, и вот в глубокой старости её непреодолимо потянуло к истокам — туда, где были иконы. Она стеснялась ходить в церковь, а музеею служила с удовольствием. В этом странном для советского времени музее было всего несколько залов — и все заполнены иконами. У Мариванны был свой, куда она приходила утром, протирала пол, поливала растение в горшке (по замыслу экспозиционера, это был терновник с длинными и острыми колючками, о которые она в кровь царапала руки, но претензий никогда не высказывала), затем садилась на стул, задвинутый в угол, и наблюдала.

Соседний зал по размерам был гораздо больше; его смотрительница продолжала уборку, когда Мариванна усаживалась на стуле. Она слышала, как та махала тряпкой и в такт движениям повизгивала одну и ту же частушку:

Хорошо тебе, товариш,
Тебя matka родила,
А меня чужая тётка —
Matka в городе была!

Частушку эту Мариванна ненавидела, а бывшую учительницу начальных классов из далёкой деревеньки, нынешнюю соседку-смотрительницу

любила за лёгкость в общении, за доброту, готовность помочь. Татьяна Николаевна — широколицая, темноволосая, низенькая, но крепкая — была похожа на небольшую деревянную скульптурку Параскевы Пятницы, стоявшую в её зале и попавшую в музей тоже из маленькой ярославской деревни. Эта похожесть вселяла в Мариванну какой-то необъяснимый внутренний трепет. Слова немудрящей песенки гвоздями впивались в старуху. Про себя приходилось соглашаться — своему сыну она всю жизнь была «чужая тётка». Здесь это вычислили сразу. Она не могла запретить Татьяне петь, но и слушать каждый день становилось неважно. Мариванна решила обратиться, минуя Татьяну, прямо к Параскеве Пятнице. Придя рано утром в пустой зал, она остановилась у скульптуры и поведала ей, что дочь она родила от любимого, а сына — от постылого и всю жизнь не могла себя перебороть, видя в мальчишке противные ей черты. Закончив свою нехитрую исповедь, старуха оставила конфетку со словами: «Вот, попей чайку», — и ушла в свой зал. Когда через несколько минут она проходила мимо с ведром и тряпкой, подношения уже не было. В этот раз Татьяна протирала пол молча.

10 апреля 2008 года

Человек-медведь

Находка тревожила. Он ещё раз посмотрел на иллюстрацию в исторической книге, сравнил. Его глаз художника подтвердил подлинность предмета. И всё-таки не верилось: уж больно древним, судя по монографии, был этот камень. Нет, вид его был совсем не драгоценный — так, булыжник, — но искушённый глаз помимо отверстия и характерной обтекаемой формы видел на нерабочем конце каменного топора тупую медвежью морду. Бог знает, как оказался этот ритуальный топор в подвале его суздальского дома. Надо будет уточнить в местном музее у знакомых искусствоведок его реальную стоимость, а пока пусть лежит, — этот камень карман не тянет.

Американец оказался в древнем русском городе почти случайно. Университетское образование навсегда поселило в нём познавательное любопытство. Городок будоражил воображение. Здесь почти не было признаков ненавистной ему цивилизации в её американском варианте. О России он знал из более глубоких источников, нежели средства массовой информации, но всё-таки ждал гуляющих по улицам медведей. Его индейское происхождение внешне выдавали только блестящие чёрные волосы, собранные в хвост, но сейчас это была модная мужская причёска. Внутренним этническим сознанием он заранее любил эту страну, которая во всём мире ассоциировалась с медведем. По своему индейскому происхождению он был медведь.

Встретились они случайно, если что-то бывает случайным в нашей жизни: шустрый русский художник, в котором бросалась во все части тела

кровь многих бродивших по всегда бескрайним просторам России народов, и монокровный американец.

Старый гостеприимный русский дом приятно расслаблял так же, как и губительная для их народов огненная вода, помогавшая снять языковой барьер. Слегка хвастаясь древностью своей культуры, художник на конкретном примере решил показать её глубину. Вместе они спустились в подвал, где русский сунул руку в нишу из почерневшего кирпича и достал полиэтиленовый пакет, на котором был напечатан медведь, стоящий на задних лапах с секирой на плече. Это был герб его родного города, куда он часто навещался к живущим там матери и брату. Он довольно долго искал в бытовом хламе именно этот пакет, чтобы положить в него найденный топор. Русский бережно вынул находку, и при тусклом электрическом свете матово засияла базальтовая морда медведя.

То, что произошло дальше, ошеломило чувствительного художника: индеец опустился на колени перед лежащим на хозяйственном стеллаже медведем и запел, постукивая ритмично по доске. Может быть, водка, а может, что-то другое сделало русского очень понятливым: индеец пел песню своего народа медведю. Он его всё-таки встретил на улице русского города.

Зевс с Вокзальной, 15

Весна распорядилась на его шести сотках с проворством умелой хозяйки. Всё вокруг менялось на глазах: казалось, только что подсохло в огороде, а уже зазеленела трава, и вот-вот зацветут яблони и вишни. Солнце беспардонно забиралось во все закоулки и щели, оживляя всё, что ещё вчера казалось мёртвым. Живое росло так быстро, что старый мир трещал по швам.

В тихом уголке сарая сидела на гнезде курица. Он, заходя туда, прислушивался: пришло время трещать скорлупе высиживаемых яиц. Сегодня курица особенно беспокоилась, волновалась, и он решил почаще навещать в сарай. На воздухе от земли струились сладковатые испарения; ласковый ветерок перебирал немудрящее бельё, висевшее на верёвке, тянувшейся от сарая к дому; солнце щекотало лицо. Он сел на сложенные у стены стройматериалы и задремал: сказывались годы. Разбудила его курица, молнией выскочившая из сарая и устремившаяся к ещё не вскопанным грядкам. Старик встал и шагнул в полумрак — в покинутом матерью гнезде копошились четыре ещё не совсем обсохших, жёлтых, как одуванчики, цыплёнка, а шесть яиц лежали мёртвыми камешками. Он стал рассматривать каждое и в одном увидел дырку с торчавшим наружу клювиком. За курицей пришлось побегать, она и не собиралась возвращаться в семью. Насильно посаженная им на остывающие яйца, уже не-наседка спрыгнула

и, недовольно кудахча, медленно, всем видом давая понять, что её работа закончилась, удалилась из сарая. Ему было жаль рвавшегося наружу, но с каждой минутой слабеющего птенца. Он знал жизнь и иногда распорядился чужой по своему усмотрению, особенно не церемонясь. Да и что стоит птичья жизнь? Когда-то очень давно на его маленькую дочку налет соседский петух, разорвал ноздрю, едва не добравшись до глаза. Оставив окровавленного ребёнка на попечение матери, он схватил удиравшего петуха за крыло и свернул ему башку, затем забросил тушку в соседский курятник. Прошёл не один десяток лет; на лице дочери остался маленький шрамик, с соседями с того дня они больше не здоровались, хотя встречались несколько раз на дню. Эта история, многократно пересказанная всеми членами его семьи как иллюстрация непростых соседских отношений, сейчас пришла ему на память. Старик смотрел на яйцо, почему-то подумал, что там борется за жизнь будущий петух, и решил ему помочь. Подмывало быстро расковырять скорлупу и освободить цыплёнка, но у него уже был подобный опыт: от такой помощи птеник умер. Срочно нужно было заменить мать. Так удобно устроившаяся на земле весна роднила между собой всё живое. Решение, подсказанное всплывшим вдруг мифом о Зевсе, который вшил зародыш в бедро и положенный срок вынашивал в собственном теле будущего Диониса, пришло быстро. Он снял сохнувший на верёвке тёплый носок, бережно положил в него многострадальное яйцо, и образовавшийся кокон аккуратно сунул за пазуху. Старик не знал, сколько времени ему придётся носить с яйцом, но чувствовал, что надолго его не хватит. Цыплёнок старался изо всех сил и не слишком обременил нового родителя. Старик ощутил движение в носке, и оно привело умудрённого жизнью человека в трепет. Он высвободил цыплёнка, оставив его на своей ладони, показал ему тёплый и солнечный Божий мир, дал время обсохнуть, а затем отправил к вылупившейся раньше четвёрке. Им нельзя было привязываться друг к другу: в отличие от ничего не ведавшего цыплёнка, как и полагается Зевсу, старик знал его дальнейшую судьбу.

15 апреля 2008 года

Покров

Вот уже три года мама покоится на ростовском кладбище. Сегодня — Покров, четырнадцатое октября, воскресенье, мамин день рождения. Как всегда, с большим трудом собираюсь в дорогу. В Ростове, а значит, и на кладбище, не была с конца лета. Тоска. Ругаю себя за нерасторопность. Нужно убрать остатки летней травы: скоро зима, в общем, Покров. Погода ненастная — дождь, ветер, холодно.

Еду ненавистой и любимой дорогой моей жизни: Ярославль — Ростов. На кладбище посетителей почти нет, но нет и страха. На родных могилах травы меньше, чем ожидалось. Под мелкий дождь убрала, постояла, почитала молитвы и пошла в город.

Пока шла, дождь превратился в снег. Большими мокрыми хлопьями он быстро покрывал всё вокруг. Пространство, включая воздух, становилось мягким и пухлым. Знакомые предметы приобретали порядком подзабытые зимние очертания.

Приземистый ландшафт Ростова быстро становился вневременным. Шла пешком по центральной улице по направлению к кремлю. Чем ближе был старый город, тем сказочней, этничней становился окружающий пейзаж.

Здесь, как и на кладбище, людей не было. Всё напоминало сон: казалось, от одного твоего движения рукой рассыплются не только деревья, но башни и стены кремля.

Так иду, кручу головой по сторонам, иногда трогаю ветки деревьев, и они действительно осыпаются-рассыпаются, так как вместе со снегом слетают и листья, — вдруг слышу с противоположной стороны улицы ликующий детский голос:

— Тётяшка! Снегу-то! Да!

Оборачиваюсь — мальчик лет двенадцати в синей курточке и серой шапке ловит хлопья снега на голые ладошки и улыбается мне. Я тоже улыбаюсь в ответ, машу ему мокрой рукой, и мы расходимся в разные стороны. Через мгновение я оглянулась посмотреть, не оглянулся ли он, — но за спиной был только снег. А как же иначе — Покров!

Октябрь 2007 года

От редактора рубрики

Миниатюры Ирины Чирковой отсылают сразу к двум культурным мирам: к миру старинных русских городов (прежде всего — родного для автора Верхневолжья) и к миру провинциального художественного музея. Внутренняя музейная жизнь — «terra incognita» для людей извне. Музей повёрнут к ним шедеврами, застывшими экспозициями и затверженными текстами экскурсий. Впрочем, и сами «музейщики» лишь сейчас стали понимать историко-культурную ценность не только экспонатов, но и самой сокровенной истории музея и «профессионального предания»: совсем недавно появились первые исследования музейной субкультуры и публикации текстов «устной истории».

Ирина Чиркова идёт другим — не исследовательским — путём. Нам неизвестно, насколько вымышлены или реальны рассказанные ею «истории». Дело не в этом. Они отсылают к уникальному опыту осмысления и «обживания» мира, свойственному музейным работникам. Посвящения реальным людям в трёх рассказах из пяти — этому свидетельству. В миниатюрах действуют персонажи музейного мира или близкие к нему: экспозиционеры, экскурсоводы, реставраторы по тканям, смотрители, «поводырь медведицы», «знакомые искусствоведки», «старые столичные учёные феи» и другие.

Герои Чирковой живут в мире вещей и понимают «язык вещей»; обременены чувством избранности («сама причастность к музею наделяла человека харизмой»), педагогическими сверхзадачами экспозиции, режимом работы музейных залов; изнывают от неволи идеологически заштампованных экскурсий...